

Похороны мухи в гробу из репы

Нормальный русский осенний обряд



Ирина Калинина-Марарова

Ирина Калинина

Похороны мухи в гробу из репы

«Автор»

2026

Калинина И.

Похороны мухи в гробу из репы / И. Калинина — «Автор», 2026

В одной русской деревне даже похороны мухи могут обернуться делом, в котором переплетутся суеверия, чужие тайны, давние обиды и человеческая совесть. Маленькая Глаша всего лишь хотела по-честному проводить в последний путь крошечную усопшую, соорудив ей гробик из репы и устроив могилку под старой яблоней. Но вскоре рядом с этим необычным захоронением начинают появляться странные следы... Глаша вместе со своим приятелем Митькой пытается разобраться, что же произошло на самом деле. Детское любопытство приводит их к истории смерти Акулины, пропавшему серебряному кресту и тайне церковных денег. Каждая новая находка будто приоткрывает дверь, за которой скрывается очередная загадка, а разгадка оказывается куда страшнее деревенских страшилок. И кто бы мог подумать, что всё начнётся с мухи, которую похоронили в гробу из репы?

© Калинина И., 2026

© Автор, 2026

Ирина Калинина

Похороны мухи в гробу из репы

Похороны мухи в гробу из репы *

Историческая детективно-мистическая повесть

Часть первая. Маленькие похороны

Глава первая. Покойнице полагается гроб

Муха умерла в четверг, а похоронили мы её в пятницу, потому что в четверг у нас в избе пекли хлеб и мать сказала, что не хватало ещё, чтобы я со своими покойниками крутилась возле квашни, откуда тесто могло подцепить всякую пакость. Я тогда ещё не знала, что у мёртвых тоже бывают дни, когда их нельзя хоронить, а у живых - дела, которые важнее чужой смерти. Мне казалось, что если уж Господь создал муху, позволил ей жужжать над ухом, садиться на кашу, щекотать лапками нос и жить на белом свете, то и провожать её надлежит как следует, а не сметать со стола мокрой тряпкой, будто она была крошкой, которую забыли скормить курам.

Муха лежала на подоконнике возле треснувшего глиняного горшка, в котором мать держала лук на зелень. Она была чёрная, блестящая, с прозрачными крылышками, сложенными на спине, и с такими тоненькими ножками, что я долго не могла понять, как она вообще удерживалась на стене, когда была живая. Ещё накануне она сидела на моей ложке, и я сердилась на неё, потому что она лезла туда, куда её не звали, а теперь я сама не знала, куда девать глаза, глядя на её неподвижное тельце.

- Мам, а муха в рай попадёт? - спросила я.

Мать месила тесто в деревянной кадке, засучив рукава до локтей. На её щеках выступил румянец от жара печи, несколько прядей выбились из-под платка и прилипли ко лбу, а на большом пальце правой руки белел старый шрам, похожий на маленький полумесяц. Мать всегда говорила, что шрам этот ей оставила неосторожная работа с ножом, но мне отчего-то казалось, что он появился в ту пору, когда она ещё не была моей матерью, а сама была девочкой и тоже не знала, почему взрослые иногда плачут, отвернувшись к стене.

- Какая муха? - спросила она, не поднимая головы.

- Которая померла.

- А ты откуда знаешь, что померла?

- Она не шевелится.

- Может, замёрзла.

Я посмотрела на муху. В избе было тепло, печь дышала жаром, а на стекле маленького оконца, натянутого бычьим пузырём, выступила мутная испарина. Муха лежала на боку и не двигалась. Я осторожно тронула её соломинкой, потом подула на неё, потом сказала ей, что если она притворяется, то лучше перестать, потому что мне некогда с ней играть. Муха не послушалась.

- Замёрзшие оттаивают, - сказала я. - А мёртвые нет.

Мать перестала месить тесто и посмотрела на меня так, словно я произнесла что-то неприличное за столом при священнике.

- Откуда ты таких слов набралась?

- От людей.

- Много ты понимаешь в людях.

Она снова принялась за тесто. Я решила, что разговор окончен, но всё-таки спросила:

- А если муха померла, её надо отпевать?

- Господи, помилуй, Глашка! - мать вытерла ладони о передник. - Что ты пристала к мухе? Выбрось её за окно, и дело с концом.

Но я уже знала, что так не поступлю. Потому что недавно хоронили старого Федота с дальнего конца деревни, и я видела, как его выносили из избы на досках, накрытых холстиной, как бабы причитали, а мужики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу, будто каждому хотелось поскорее уйти по своим делам, но никто не решался сделать первый шаг. Федот был старый, кривой и сердитый, ругался на ребят, гонял кур со своего огорода и однажды прогнал меня с крыльца, когда я попросила у него воды. Однако его всё равно положили в гроб, накрыли крышкой, понесли на кладбище и закопали в землю. Значит, даже сердитым людям полагалось место, куда их можно было положить после смерти. Почему же муха должна была валяться на подоконнике, пока мать не смахнёт её в золу?

Я осторожно взяла её двумя пальцами за крылышко. Она оказалась легче сухой травинки, и мне стало страшно, что я могу раздавить её, хотя, по правде сказать, давить там было уже нечего.

- Не трогай, — бросила мать. - Ещё заразу какую подцепишь.

- Я её похороню.

- Кого?

- Муху.

Мать посмотрела на меня, потом на муху, потом опять на меня. По её лицу я поняла, что она сейчас рассмеётся, но она только покачала головой и вернулась к кадке.

- Хоть бы ты, девка, когда-нибудь придумала дело поумнее.

Я обиделась. Не сильно, но достаточно, чтобы уйти из избы с таким видом, будто меня выгнали не за муху, а за какое-нибудь большое преступление, о котором все знают, но никто не желает говорить вслух. Я завернула покойницу в лоскуток старой холстины, который нашла возле сундука, и спрятала в карман передника. Потом вышла во двор, где стоял такой сырой, серый день, что казалось, будто небо кто-то вымыл грязной водой и забыл вытереть.

У нас тогда была осень. Не та осень, когда листья горят золотом, а люди ходят по лесу с корзинками, собирают грибы и говорят, что природа прощается с летом, а другая, настоящая крестьянская осень, когда земля липнет к лаптям, лужи не высыхают по нескольку дней, сено давно убрано под крышу, а от каждого ветра хочется подтянуть ворот рубахи повыше. На огородах торчали голые стебли капусты, в бороздах темнели остатки ботвы, и лишь у забора ещё держалась репа, которую мать собиралась выкопать перед первыми настоящими морозами.

За огородом начинался наш маленький мир, состоявший из кривой изгороди, сарая с покосившейся крышей, двух яблонь, которые давали больше червивых плодов, чем съедобных, и узкой тропинки, ведущей к соседскому двору. Дальше стояли другие избы, похожие друг на друга, как братья в одинаковых рубахах: потемневшие от дождей стены, маленькие окна, соломенные крыши, над которыми поднимался дым. За деревней тянулись поля, а ещё дальше, за перелеском, текла река, которую взрослые называли Неманом. Я знала, что река большая, потому что отец говорил, будто на ней бывают такие волны, что лодку может перевернуть, но сама я видела её только издали, когда меня брали с собой на покос.

В тот день Неман был невидим за серой пеленой, зато ветер оттуда приходил сырой и холодный, пахнувший водой, мокрой корой и чем-то металлическим. Я подняла ворот платья, прижала к груди муху и отправилась на поиски гроба.

Гроб нельзя было сделать из дерева, потому что у меня не было ни ножа, ни досок, а просить у отца было бесполезно: он сказал бы, что у него других забот хватает, и велел бы идти к матери. Из тряпки тоже не годилось, потому что в тряпке покойница лежала бы как в мешке, а не как в настоящем гробу. Я подумала о коробочке, в которой мать хранила иголки, но коробочку нельзя было закапывать: мать заметила бы пропажу и задала мне такую трёпку, что муха показалась бы счастливее меня. Тогда я вспомнила про репу.

Репа была хорошая, круглая, с белым боком и фиолетовым хвостиком, торчавшим из земли. Я выбрала самую маленькую, потому что покойница тоже была маленькая, и потянула

за ботву. Репа не поддавалась. Я потянула сильнее, упёрлась ногой в землю и едва не упала на спину. Тогда я решила, что, наверное, ей тоже не хочется умирать, но тут же вспомнила, что репа уже выросла и давно готова к тому, чтобы её съели. Значит, она не могла сердиться на меня за то, что я собираюсь использовать её для хорошего дела.

Со второй попытки репа выскочила из земли вместе с комком грязи и несколькими тонкими корешками. Я отряхнула её о подол платья, но земля всё равно осталась в углублениях. Потом нашла у сарая обломок сухой ветки и принялась выковыривать середину, стараясь сделать полость, куда поместится муха. Получалось плохо. Репа была твёрдая, ветка ломалась, а пальцы у меня быстро замёрзли. Я злилась на репу, на ветку, на муху, которая не могла хотя бы немного согнуться, чтобы облегчить мне работу, и на взрослых, которые умели делать гробы из досок, но никогда не объясняли детям, как быть, когда досок нет.

- Ты чего там ковыряешься? - спросил соседский Митька.

Он был старше меня года на три, а может, на четыре, и считал себя взрослым человеком, потому что умел лазить на крышу сарая и однажды видел, как кузнец подковывал лошадь. Митька носил залатанную свитку, которая всегда пахла дымом, и имел привычку говорить громко даже тогда, когда вокруг никого не было.

- Гроб делаю, - ответила я.

- Кому?

Я показала ему муху.

Митька сначала замолчал, потом заржал так, что на соседской крыше всполошились голуби.

- Муха-то! Гроб для мухи! Ты, Глашка, совсем дура.

- Сам дурак.

- А как ты её закапывать будешь? Она же летать не умеет теперь, зато маленькая. Закопашь - и всё, конец.

- Так она и так умерла.

- А ты откуда знаешь? Может, она спит.

Я посмотрела на Митьку с презрением. Он был мальчик большой, а понимал меньше меня.

- Если бы она спала, то храпела бы.

Митька перестал смеяться и устался на муху. Я не знала, поверил он мне или просто пытался понять, как это мухи храпят, но он больше не спорил. Он присел рядом, подобрал с земли тонкую щепку и принялся помогать мне выковыривать репу. В конце концов мы сделали внутри такую ямку, что муха туда помещалась, если положить её боком и подогнуть одно крылышко.

- А крышку чем закроешь? - спросил Митька.

Я подумала и нашла возле сарая сухой лист лопуха. Он был широкий, потемневший по краям и местами прогрызенный насекомыми, но зато подходил к нашему гробу лучше всего. Мы положили муху на кусочек холстины, накрыли лопухом и прижали сверху тонкой палочкой, которую Митька расщепил ногтем.

- Теперь надо нести, - сказала я.

- Куда?

Я огляделась. За сараем, у самого забора, росла старая яблоня. Её ствол был кривой, а нижние ветки почти касались земли. Под ней обычно прятались куры, когда шёл дождь, и там же я однажды нашла птичье яйцо, которое почему-то было холодным и пустым. Место казалось подходящим: никто не ходил туда без надобности, а корни яблони торчали из земли, словно старые пальцы, которые держат её и не дают разойтись.

- Здесь, - сказала я.

Митька посмотрел на яблоню, потом на меня, но спорить не стал. Он даже принёс из сарая старую деревянную ложку, у которой отломилась ручка, и мы принялись копать. Земля была мягкая сверху, а ниже становилась плотной, мокрой и тяжёлой. Мы вырыли ямку глубиной с мою ладонь, и я решила, что этого достаточно: муха маленькая, ей не нужно лежать так глубоко, как Федоту.

Пока мы копали, из-за забора доносились голоса взрослых. Кто-то ругался из-за пропавшей курицы, кто-то звал ребёнка домой, кто-то обсуждал, что скоро надо будет готовиться к зиме. Эти голоса были обычными, привычными, и мне казалось, что весь мир занят своими делами, а мы с Митькой делаем что-то важное и совершенно никому не нужное.

Я опустила на колени перед ямкой и положила в неё реповый гробик. Муха лежала внутри тихо, не шевелилась, не жужжала и не пыталась вылезти наружу. Я поправила холстину, чтобы она не закрывала ей лицо, хотя лица у мух я никогда не замечала, и сложила ладони, как делала мать, когда молилась перед сном.

- Господи, - сказала я, - прими эту муху к себе, потому что она маленькая и сама не знает, куда ей теперь идти. Она больше не будет садиться в кашу и мешать людям есть, потому что теперь она умерла. Ты только не ругай её сильно, если она там тоже будет жужжать. Она не со зла. Она просто муха.

Митька стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Я покосилась на него и заметила, что он больше не улыбается. Он смотрел на маленький гроб так серьёзно, как будто перед нами лежал не кусочек репы с мёртвым насекомым, а кто-то из его родных.

- А теперь надо засыпать, - сказала я.

Мы засыпали ямку землёй, осторожно, чтобы не повредить гроб. Потом я положила сверху плоский камешек, который нашла у забора, и воткнула рядом сухую травинку. Митька предложил поставить крестик из двух щепок, но я сказала, что муха, наверное, не умеет разбираться в крестах, а травинка ей и так будет видна, если она вдруг захочет посмотреть, где её похоронили.

- А если она встанет? - спросил Митька.

- Мёртвые не встают.

- А бабка моя говорит, что встают.

- Твоя бабка много чего говорит.

Митька снова хотел засмеяться, но не засмеялся. Он оглянулся на дом, потом на дорогу, ведущую к церкви, и вдруг спросил:

- А ты не боишься мёртвых?

Я подумала. Мёртвых я боялась не очень, потому что они лежали тихо и не ругались, а вот живых иногда боялась сильно. Отец, когда сердился, мог так хлопнуть дверью, что я вздрагивала. Кузнец однажды прогнал меня с кузни, потому что я слишком долго смотрела на огонь. А отец Евлампий, которого я видела издали во время службы, казался таким большим, что я думала: если он захочет, то может закрыть собой весь вход в церковь и не пустить туда даже солнце.

- Мёртвых - нет, - сказала я. - Я боюсь тех, кто кричит.

Митька посмотрел на меня, потом опять на могилку.

- А если мёртвый будет кричать?

Я не ответила. Мне не понравился этот вопрос, потому что он был неправильный. Мёртвые не должны кричать. Если они кричат, значит, они не совсем мёртвые или кто-то хочет, чтобы мы так думали. Но я не стала говорить об этом Митьке, чтобы он не решил, будто я тоже боюсь.

Мы постояли ещё немного, потом Митька ушёл к себе, а я осталась возле яблони. Ветер трогал голые ветки, и с них падали последние листья. Один лист опустился прямо на могилку,

лёг поверх камешка и дрогнул, словно его кто-то коснулся снизу. Я наклонилась, сняла его и увидела, что возле камешка земля чуть-чуть осела.

Наверное, мы плохо утрамбовали её, подумала я. Или дождь размыл края. Я поправила землю ладонью и уже собралась уходить, когда заметила возле самой ямки тонкую белую нитку.

Она лежала на тёмной земле, мокрая и чистая, словно её только что положили туда. Я подняла её двумя пальцами. Нитка была длинная, крепкая, совсем не похожая на паутину, и на одном конце у неё виднелся маленький узелок. Я покрутила её, попробовала разорвать, но она не поддавалась.

Откуда нитка взялась, я не знала. Мы с Митькой ничего такого не приносили, а мать всегда говорила, что нитки нельзя бросать на землю, потому что их потом подбирают мыши и тащат в норы. Я оглянулась на дом. В окне мелькнуло материнское лицо, и я быстро спрятала нитку в карман передника, сама не понимая зачем.

В тот вечер я никому не рассказала о ней. Не потому, что боялась, а потому, что не знала, что именно следовало рассказывать. У меня была мёртвая муха, маленькая могилка под яблоней и белая нитка с узелком. Для взрослого человека это были три пустяка, не стоившие даже одной затяжки табака. Для меня же они составляли целую историю, в которой ещё не хватало только конца.

Я тогда не знала, что через несколько дней буду вспоминать эту нитку, пытаюсь понять, откуда она взялась и почему мне так страшно прикасаться к ней. Не знала я и того, что однажды мне придётся выбирать между тем, чтобы рассказать взрослым правду, и тем, чтобы остаться живой и тихой девочкой, которой велят не задавать лишних вопросов.

В тот день я просто похоронила муху.

А вечером, когда мать позвала меня в избу, я услышала, как за окном кто-то тихо прошёл по мокрой земле. Шаги были осторожные, будто человек боялся наступить на ветку или разбудить собаку. Я подошла к окну, но за мутным пузырьём стекла ничего не увидела, кроме тёмного двора и покосившейся изгороди.

Собака у соседей не лаяла. Ветер стих. Даже яблоня стояла неподвижно, словно её ветви кто-то придерживал руками.

Я уже собралась отойти, когда услышала тихий, едва различимый звук. Он донёсся оттуда, где под яблоней лежал мой реповый гробик.

Будто кто-то ногтем провёл по сухому листу.

Я замерла, прижав ладони к стеклу. Потом позвала мать, но она не услышала: в печи трещали дрова, а сама она что-то напевала над кадкой. Я ещё немного постояла у окна, надеясь, что звук повторится, но двор оставался безмолвным.

Тогда я решила, что мне показалось. Ведь мухи не умеют стучать из могилы, даже если их похоронили неправильно.

И всё же перед сном я трижды перекрестилась, хотя не помнила, чтобы мать учила меня креститься именно три раза.

Я просто хотела, чтобы муха лежала спокойно.

Глава вторая. Праздник, на котором под столом слышно всё

Шесть мне тогда сравнялось. Или пять? В нашей избе у времени короткие ноги, оно меряется не годами, а урожаем льна да ледоставом на Немане. Помню только, что была я мала ростом, как гриб-опёнок, и платье моё, перешитое из материнской понёвы, путалось в ногах. Сама понёва была старая, выцветшая, местами потёртая до белизны, но мать распоролла её аккуратно, выбрала целые куски и сшила мне платье, в котором я могла ходить, не цепляясь подолом за каждый сучок. Правда, подол всё равно цеплялся, зато платье было моё, а не старшей сестры, от которой мне обычно доставалось всё, что уже невозможно было носить без стыда.

В тот день село гуляло так, что земля гудела. То ли Параскеву крестили, младшую дочку мельника, то ли старшая замуж выходила за парня из Выселок – память моя детская путает поводы, но запахи помнит крепко. Стоял длинный стол под липами, прогибающийся от тяжести. Тут тебе и щи суточные с чугунка, источавшие дух квашеной капусты, и пироги рыбные, где лец лежал во всю длину, тараша мёртвый стеклянный глаз, и горы пряженцев, и жбан с медовухой, уже начавший потеть росой. Между блюдами стояли деревянные ковши, глиняные миски, кринки со сметаной, а ближе к краю стола кто-то поставил блюдо с печёными яблоками, от которого шёл такой сладкий дух, что я едва не забыла обо всех своих важных делах.

Народ гомонил, звенел ложками о расписные миски, спорил, кто кому приходится родней, и вспоминал истории, которые случились задолго до моего рождения, но рассказывались с такой уверенностью, словно все присутствующие лично стояли рядом и держали свечку. Мужики сидели плечом к плечу, в домотканых рубахах и поддёвках, бабы поправляли платки, дети носились между ног, а собаки крутились под столами в надежде, что у кого-нибудь окажется совесть пошире ладони. Над липами висел прозрачный осенний свет, ещё тёплый, но уже какой-то недолговечный. Листья начинали желтеть по краям, и ветер, пробегая по ним, шуршал так, будто где-то за деревьями шептались старухи.

Мать с самого утра велела мне помогать: то ложки вытирать, то миски относить, то смотреть, чтобы младшие дети не лезли к котлу, в котором варили мясо. Она была в праздничном платке, завязанном под подбородком, и в чистой рубахе, которую берегла для больших дней. На щеках у неё выступил румянец, руки пахли луком, хлебом и дымом, а голос сделался таким строгим, что даже Митька, обычно не признававший ничьей власти, при её появлении переставал орать и начинал делать вид, будто всегда был тихим и послушным ребёнком.

Я продержалась возле матери до тех пор, пока она не отправила меня за водой, потом заставила отнести миску старухе, у которой болели ноги, а после поручила вытереть ложки, уже вытертые мной дважды. Тогда я поняла, что если останусь на виду, то к вечеру меня либо заставят перемыть всю посуду, либо отправят укачивать чужого младенца, либо найдут ещё какое-нибудь полезное дело, от которого взрослым станет легче, а мне – скучнее. Поэтому я решила исчезнуть.

Исчезать я умела хорошо. Для этого требовалось только не попадаться матери на глаза, не наступать на сухие ветки, не задевать локтем миски и не смотреть слишком долго на то, что хотелось рассмотреть. Я проскользнула за спины гостей, обогнула бочку с водой и нырнула под стол, где для меня сразу открылся целый мир, недоступный взрослым.

Там было тепло, тесно и пахло жизнью. Пахло дегтем от мужских онуч, мокрой шерстью, кислым тестом, землёй, старой кожей, луком и дымом. Бабы сидели так близко друг к другу, что их тяжёлые юбки и шерстяные понёвы образовывали вокруг меня целые стены. Между ногами мелькали босые пятки, сапоги, деревянные башмаки, а иногда опускалась чья-нибудь рука, чтобы подобрать упавшую ложку или отодвинуть миску. Я ползала между лавками, собирая крошки, которые роняли небрежные руки, и находила такие богатства, что могла бы накормить целую семью, если бы семья состояла из муравьёв.

Под столом было удобно наблюдать за людьми. Когда взрослый человек сидит перед тобой, он старается выглядеть прилично: улыбается, выпрямляет спину, говорит правильные слова, а если рядом священник, то ещё и складывает руки так, словно никогда в жизни не брал чужого. Но ноги у людей живут собственной жизнью. Одни всё время дёргаются, другие топчутся на месте, третьи прячут носки под лавку, а четвёртые, когда сердятся, начинают скрести землю каблуком. Я тогда ещё не знала, что ноги могут рассказать о человеке больше, чем его рот, зато уже понимала: если кто-то говорит, что ему хорошо, а сам под столом сжимает пальцы в кулак, значит, что-то тут не так.

У меня даже была любимая игра: угадывать, кто из взрослых сейчас рассердится. Для этого надо было смотреть на обувь. Если мужик начинал стучать каблуком, значит, ему не

нравилась беседа. Если баба поджимала пальцы в башмаках, значит, она хотела уйти, но не могла, потому что её удерживали разговором. А если человек стоял совершенно неподвижно, я старалась держаться от него подальше. Такие люди были страшнее всех, потому что никогда не знаешь, что у них в голове.

Я как раз нашла кусок рыбного пирога, который, судя по запаху, пролежал под столом не меньше часа, когда над моим убежищем раздался тяжёлый скрип лавки. Кто-то уселся так, что столешница вздрогнула, а с ближайшей миски съехала ложка. Потом раздалось громкое сопение, будто в нашу сторону приближался бык, решивший не останавливаться перед препятствиями.

А потом пришёл Он.

Тень накрыла мой лаз. Отец Евлампий. Огромный, сутулый, похожий на старый замшевый валун, который вдруг решил пройти. Лет ему было, казалось, сто, хотя позже мать говорила, что едва шестьдесят стукнуло. Борода его была длинная, седая, лопатой, и вся в хлебных крошках, оставшихся, наверное, ещё с прошлого причастия. На груди поверх чёрной рясы висел медный крест размером с добрый кулак - таким и убить можно. На голове возвышалась чёрная камилавка, высокая и строгая, отчего он казался ещё выше, чем был на самом деле.

Я не знала тогда, чем камилавка отличается от других церковных головных уборов, и вообще считала, что всякий человек, которому дозволено говорить с Богом при всех, должен выглядеть несколько иначе. Мне представлялся священник высоким, тонким, чистым и тихим, как свечка в церкви. Евлампий же походил на медведя, которого по недоразумению нарядили в чёрное и поставили заведовать человеческими душами.

Он перекрестил стол широким махом, отчего качнулись кружки, сел на лавку, жалобно скрипнувшую под его весом, и снял камилавку. Положил рядом. Волосы прилипли ко лбу мокрыми прядями, а на виске блестела капля пота. Я запомнила эту каплю, потому что она медленно ползла к уху и исчезла в седых волосах, словно кто-то пустил по его лицу маленького прозрачного жука.

Ел он страшно. Не вкушал, а пожирал. Запускал пятерню в общую миску, вытаскивал куски мяса жирными пальцами и отправлял в рот, чавкая так смачно, что даже собаки поджали хвосты. Медовуха лилась в его глотку, как в бездонную бочку. После третьего ковша лицо его пошло багровыми пятнами, а глаза, маленькие и глубоко посаженные, заблестели нездоровым огнём.

- Вот это жизнь! - прогремел он, отрывая зубами кусок мяса. - Вот это благодать Господня! Не в пустой молитве благодать, а в том, чтобы человек ел досыта и благодарил Творца за каждый кусок!

Кто-то из мужиков неловко засмеялся. Кто-то поспешно подвинул ему блюдо с пирогами. Хромой кузнец, сидевший напротив, попытался пошутить, что батюшке пора бы и пост соблюдать, а то скоро столы начнут ломаться от одной его тени. Евлампий захохотал так, что у меня под столом задрожали плечи. Его смех не был весёлым: он гремел, как пустая бочка, катящаяся с горы, и в нём было что-то такое, от чего хотелось забиться подальше.

- Пост? - переспросил священник, вытирая губы тыльной стороной ладони. - Греха боитесь? А грех, он сладок! Ибо человек слаб!

- Да мы, батюшка, люди простые, - осторожно ответил кузнец. - Нам бы до весны дожить, а там уж Господь рассудит.

- До весны? - Евлампий прищурился. - А если до утра не доживёшь? Что тогда? Кто за тебя слово скажет? Кто душу твою из огня вытащит?

Кузнец перестал улыбаться. Остальные тоже притихли. Мне показалось, что даже собаки под столом перестали дышать. Но тишина продержалась недолго: Евлампий снова потянулся к ковшу, выпил, шумно выдохнул и принялся рассказывать, как однажды видел человека, кото-

рый не верил в Страшный суд, а потом умер в такой муке, что даже палач, если бы оказался рядом, перекрестился бы от ужаса.

Я слушала и думала, что, наверное, этот человек просто был плохим, раз Господь наказал его так сильно. Но потом вспомнила, как Евлампий только что ел мясо, пил медовуху и смеялся над чужими страхами, и решила, что взрослые иногда говорят о грехе так, будто он существует только у других.

- Человеку надлежит жить в страхе Божьем, - продолжал священник. - Потому что Господь видит всё. И когда вы думаете, будто никто вас не видит, Он всё равно смотрит. В каждую щель заглянет, каждую мысль прочтёт, каждую тайну вытащит наружу.

Он произнёс это так громко, что одна из женщин у дальнего конца стола уронила ложку. Евлампий повернул голову на звук, и его взгляд скользнул по лицам собравшихся, задерживаясь на каждом чуть дольше, чем требовалось. Я тогда не знала, что человек, который слишком часто напоминает окружающим о всевидящем судье, иногда больше всего боится именно того, что кто-нибудь увидит его самого.

Потом он рыгнул, громко и сыто, достал из-за ворота рясы край своей нечесаной бороды и утер им губы, оставив блестящий след сала. Икнул снова, вытер пальцы о край скатерти и ткнул корявым пальцем в сторону молодой женщины, стоявшей у стола с кувшином.

- Подь сюда, краля! Споём тропарь блудный!

Женщина замерла. Ей было не больше двадцати, лицо у неё было круглое, с красными от работы щеками, а на руках она держала маленького ребёнка, который уже начинал хныкать. Муж её, высокий парень с рыжими усами, поднялся с лавки, но священник так посмотрел на него, что тот снова сел.

- Батюшка шутит, - поспешно сказала хозяйка праздника. - Вы уж не серчайте, Дарья у нас робкая.

- Робкая? - Евлампий расплылся в улыбке. - Так мы её научим не робеть! Господь любит смелых!

Народ засмеялся, но смех был жидкий, неловкий. Мне не понравилось, как женщина прижала ребёнка к груди и отвернула лицо. Я не понимала, почему никто не скажет священнику, чтобы он оставил её в покое. Ведь если бы Митька стал дразнить меня при всех, мать непременно одёрнула бы его, а если бы он не послушался, то и за ухо оттащила бы. Но взрослые почему-то сидели тихо, будто Евлампий был не человеком, а грозовой тучей, которую лучше переждать, чем пытаться прогнать.

Я решила, что священников, наверное, нельзя ругать. Потом я узнала, что можно, но за это приходится платить дороже, чем за обычную брань.

К вечеру солнце опустилось за крыши, и липы отбрасывали длинные тени, похожие на кладбищенские кресты. Воздух стал холоднее, в траве блестела роса, а от реки потянуло сыростью. Праздник продолжался, но люди уже говорили громче, смеялись чаще и всё меньше обращали внимание на то, что происходит вокруг. Евлампий совсем ошеломился. Он привалился плечом к стволу дерева, голова его моталась, но громогласный голос всё ещё пытался выводить какие-то слова, сбиваясь на мычание. Бороду свою он больше не вытирал - оставил её жирной, лоснящейся в закатном свете.

Я выбралась из-под стола, потому что там стало тесно и жарко, а ещё потому, что у меня закончились все крошки, которые можно было собрать без риска получить подзатыльник. Я встала за спинами трёх древних старух, сидевших чуть поодаль, на завалинке. Они грызли тыквенные семечки, сплёвывая шелуху в ладонь, и их сухие пальцы были жёлтые, как старый пергамент. Одна из них, Матрёна-солдатка, носила чёрный платок, который завязывала так туго, что у неё на лбу всегда оставалась красная полоска. Вторая, Анистья, была маленькая, сухая, с острым носом и глазами, похожими на две чёрные бусины. Третью я знала только по

прозвищу - Беззубая, потому что зубов у неё действительно не было, а имя её никто при мне не произносил.

Они думали, что девчонка не поймёт. Но дети понимают интонации лучше слов. Когда взрослый говорит спокойно, а сам то и дело оглядывается, ребёнок замечает не столько содержание разговора, сколько страх, который прячется между словами. Я не собиралась подслушивать, честное слово. Просто старухи сидели рядом, а мне было интересно, почему они всё время смотрят на Евлампия и всякий раз замолкают, когда он шевелится.

- ...видела давеча, - шамкала Матрёна, косясь на храпящего священника, - лавошница наша, Прасковья, счёт церковный вела. Три рубля ассигнациями не сошлись. Тянули денежки. На ту самую медовуху и тянули.

- Молчи, дура, - шикнула Анисья, перебирая чётки узловатыми пальцами. - Язык вырвут.

- Да кто вырвет? - вступила Беззубая. - Нету лавошницы. Со скалы сиганула намедни. Горе у неё случилось великое. Муж, батюшка наш любезный, отец Евлампий, прознал, что она про деньги утаённые догадалась. Причастил её перед сном... Утром нашли в сарае. Петлю ей надел, а сказал — сама бесноватая наложила на себя руки. Жену-то родную, Акулину, порешил.

Я перестала дышать.

До этого момента разговор старух казался мне обычной взрослой болтовнёй: деньги, медовуха, какая-то лавошница, которой больше нет. Но имя Акулины я знала. Все знали. Она умерла недавно, и мать сказала, что теперь отцу Евлампию придётся самому вести хозяйство, потому что без жены в доме всё идёт наперекосяк. Я видела её всего однажды, когда она проходила мимо нашего двора с корзиной, прижимая к груди связку сушёных трав. Она была высокая, тонкая, с бледным лицом и очень спокойными глазами. Мне показалось тогда, что она похожа на берёзу, которая растёт на краю поля: стоит себе тихо, не просит ничего, но если ветер сильный, то гнётся так, что кажется, будто вот-вот сломается.

Я не знала, что она была женой священника. Не знала, что она умерла не так, как говорят людям. И уж совсем не понимала, почему старухи говорят о ней так, будто она до сих пор ходит по деревне, только никто не хочет с ней встречаться.

- Тише ты, карга старая! - испугалась Матрёна. - Услышит.

- Кто услышит? - Беззубая повернула голову в сторону Евлампия. - Он, что ли? Да он вон лежит, как бревно. Только бревно-то не храпит.

- Не бревно он, а батюшка, - прошептала Анисья. - Ты хоть бы крестилась, когда такое говоришь.

- Вот он сидит, антихрист, - продолжала Беззубая, будто не слышала. - Пьёт потому, говорят, что каждую ночь жена убиенная к нему приходит. Стоит у изголовья и смотрит. А он водкой огонь заливает, чтоб её лица не видеть. Только бесам водка нипочём. Мучают они его, когтями душу рвут, вот он и жрёт за троих, пытается плотью дыру в душе заткнуть...

- Перестань, - прошептала Матрёна. - Не наше это дело.

- А чьё же? - Беззубая сплюнула шелуху в ладонь. - Божье? Так Бог и без нас знает. А людям что остаётся? Молчать да ждать, пока ещё кого-нибудь в сарае найдут?

Слова её были тихими, но каждое ложилось на меня тяжёлым камнем. Я смотрела на священника и пыталась представить, как человек может убить собственную жену. Мне казалось, что мужья должны защищать жён, как отец защищает мать от чужих собак, а священники тем более не могут делать ничего плохого, потому что они знают молитвы и говорят с Богом. Но старухи говорили иначе, и в их голосах было столько страха, что я впервые подумала: может быть, взрослые тоже не всегда знают, кому можно доверять.

- А как он её убил? - спросила я прежде, чем успела прикусить язык.

Три старухи разом повернули ко мне головы.

Я почувствовала, как у меня загорелись уши. Матрёна-солдатка так резко втянула воздух, что чуть не подавилась семечкой. Анисья перекрестилась, а Беззубая посмотрела на меня с выражением, в котором было и удивление, и какая-то странная жалость.

- Ты откуда взялась? - прошипела Матрёна.

- Я тут была.

- Давно?

- Не знаю.

- Много слышала?

Я хотела сказать, что слышала только про муху, но муха осталась дома, под яблоней, а здесь говорили о женщине, которую убили. Поэтому я промолчала.

- Иди к матери, - приказала Анисья. - И никому ни слова. Поняла?

- А почему?

- Потому что так надо.

- А если не скажу, то она встанет?

Старухи переглянулись.

- Кто? — спросила Матрёна.

- Акулина.

На мгновение мне показалось, что даже ветер перестал шевелить листья. Беззубая медленно положила семечки на колени, а Анисья сжала чётки так сильно, что костяшки её пальцев побелели.

- Кто тебе сказал про Акулину? - спросила она.

- Вы.

- Мы ничего не говорили.

- Говорили. Что она приходит к батюшке и смотрит на него.

- Это не для детских ушей, - отрезала Матрёна.

- А для чьих?

Она не ответила. И тогда я поняла, что взрослые иногда запрещают детям слушать не потому, что те ничего не поймут, а потому, что дети могут задать вопрос, на который взрослые не хотят отвечать.

В этот момент отец Евлампий пошевелился.

Старухи замерли, превратившись в серых ворон. Священник поднял голову, медленно провёл ладонью по бороде и посмотрел прямо сквозь толпу гуляющих, сквозь сумерки - своими маленькими, красными, абсолютно трезвыми глазами. Прямо на меня. Прямо мне в переносицу.

Я не знаю, сколько он так смотрел. Может быть, один миг, а может, целую вечность. Время иногда умеет растягиваться, когда человек боится, и я впервые почувствовала это на себе: будто воздух вокруг стал густым, будто я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, будто все звуки праздника отодвинулись далеко-далеко, оставив нас двоих посреди пустого поля.

Он улыбнулся. Широко, показав редкие чёрные зубы. И погрозил мне пальцем, испачканным в жире.

- Чисты будьте, овцы мои! - зарокотал он на всё село. - Ибо грядёт суд! И спросят с каждого!

Люди засмеялись, кто-то поднял ковш, кто-то крикнул, что батюшка нынче в голосе, а кто-то поспешно перекрестился. Но я уже не слышала ничего. Мне казалось, что Евлампий сказал эти слова не всем, а только мне. Он не просто увидел меня среди людей. Он знал, что я слышала. Знал, что я стояла за спинами старух и слушала разговор об Акулине. И теперь он предупреждал меня, чтобы я молчала.

Страх ударил мне в живот жидким кипятком. Я бросилась бежать, не разбирая дороги, домой, под защиту материных юбок. Я проскочила мимо бочки, зацепилась подолом за колы-

шек, едва не упала в грязь и всё-таки добралась до избы. Мать стояла у печи и помешивала что-то в горшке. Я вцепилась в её юбку обеими руками и уткнулась лицом в ткань, пахнувшую дымом, хлебом и знакомым теплом.

- Ты чего? - спросила она. - Кто тебя обидел?

- Никто.

- А чего трясёшься?

- Холодно.

Мать потрогала мой лоб, посмотрела на меня внимательно, но ничего не сказала. Она только посадила меня на лавку, пододвинула миску с тёплой кашей и велела есть. Я послушалась, хотя ложка дрожала у меня в руке, а каждый звук за стеной казался шагом человека, который идёт за мной.

Я не рассказала ей о разговоре старух. Не рассказала и о том, что Евлампий посмотрел прямо на меня. Мне казалось, что, если я произнесу его имя вслух, он каким-то образом узнает об этом и придёт к нашей избе. Я не понимала, как такое возможно, но детский страх не нуждается в доказательствах. Ему достаточно одного взгляда, одного слова, одной улыбки, от которой у человека становится холодно даже в тёплой избе.

Вечером мать уложила меня спать на печи. За окном темнело, ветер снова зашевелил яблоневые ветки, а в углу потрескивала лучина. Я лежала, натянув на себя старое одеяло, и смотрела на потолок, где плясали тени от огня. Мне хотелось думать о мухе, о маленьком гробике из репы, о белой нитке, которую я спрятала в карман. Но вместо этого я всё время вспоминала Евлампия и его красные глаза.

Я думала: если Акулина действительно приходит к нему по ночам, то почему она не приходит к другим? Почему она смотрит именно на мужа? Может быть, потому что он её убил? А если так, то почему он не боится её днём? Или боится, но умеет скрывать? И если она мёртвая, то как может ходить? А если она не ходит, то кто заставляет людей думать, что ходит?

Вопросов было столько, что я устала от них и закрыла глаза. Но сон не приходил. Мне слышался шорох за окном, тихое постукивание ветки о стену, далёкий лай собаки. Потом всё стихло, и я уже почти заснула, когда вдруг услышала голос.

Он был негромкий, женский, будто кто-то говорил из соседней комнаты, хотя там никого не было.

- Евлампий...

Я открыла глаза.

Мать спала внизу, отец похрапывал на лавке, а в избе было темно и тихо. Я не могла понять, откуда донёсся звук. Он не был похож на голос матери, не был похож на голоса соседей, которые иногда заходили к нам по вечерам. В нём было что-то тонкое, усталое и такое печальное, что мне захотелось заплакать.

- Евлампий...

На этот раз голос прозвучал будто за окном, возле самой стены.

Я натянула одеяло на голову и зажмурилась. Мне казалось, что если я не буду смотреть, то ничего не увижу, а если ничего не увижу, то и бояться будет нечего. Я лежала неподвижно, пока сердце не перестало колотиться так сильно, что я чувствовала его даже в пальцах.

Потом голос исчез.

Утром я спросила мать, слышала ли она ночью что-нибудь странное. Она сказала, что нет, и велела не выдумывать. Я хотела рассказать ей про Евлампия, но передумала. Вместо этого я выбежала во двор и направилась к яблоне, чтобы проверить могилку мухи.

Земля под камешком была влажной после ночной росы. Травинка, которую мы воткнули с Митькой, лежала на боку, а рядом, на тёмной земле, виднелась тонкая бороздка, словно кто-то провёл по ней ногтем. Я присела, осторожно коснулась земли и заметила, что она немного рыхлая.

Я не стала копать. Мне почему-то показалось, что если я открою гробик, то нарушу что-то важное, и тогда случится беда.

Я только поправила камешек, перекрестилась и прошептала:

- Лежи спокойно, муха. Не ходи никуда. Тут и так всем беспокойно.

И уже собиралась уходить, когда увидела возле корней яблони след.

Человеческий след.

Он был неглубокий, почти смытый дождём, но я хорошо различала отпечаток подошвы и маленькую выемку у пятки, словно на сапоге не хватало кусочка кожи. След шёл от забора к могилке, а потом исчезал в траве.

Я посмотрела на свои лапти. Они были маленькие, с округлыми носами, и след от них не мог быть таким большим. Митька носил башмаки, но они были деревянные и оставляли совсем другой отпечаток. Значит, ночью возле моей могилки стоял кто-то взрослый.

Кто-то, кто пришёл к маленькой мухе.

Я не знала зачем. Не знала, что он искал и нашёл ли то, что хотел. Но впервые за всё время мне стало страшно не от мёртвых, а от живых.

Потому что мёртвые, как мне казалось, лежат спокойно.

А живые почему-то всё время ходят туда, где их никто не ждёт.

Глава третья. У мёртвых длинная память

Утром я решила, что больше не стану хоронить никого, кто не умеет сам попросить себе гроб. Решение было разумное, взрослое и потому, как выяснилось позднее, совершенно бесполезное.

Муха лежала в своём реповом гробу под яблоней, а возле неё кто-то наследил большим сапогом, да так глубоко, что в отпечатке набралась ночная вода. След был похож на раскрытую пасть, и мне всё чудилось, будто земля не просто приняла чужую ногу, а хотела её удержать. Я стояла над ямкой, поджав пальцы в лаптях, и не решалась позвать Митьку. С одной стороны, он был старше меня на целых три года и потому обязан был знать, что делать с такими вещами, а с другой - он мог решить, что я опять выдумываю страхи, и тогда мне пришлось бы доказывать ему то, чего я сама не понимала.

Сапог был взрослый, мужской, с тяжёлой подошвой. На пятке виднелась выемка, будто оттуда выкусили кусочек железом или камнем. Я приложила к следу свою ладонь, но пальцы мои не доставали даже до его середины. Взрослые ноги вообще были неприятными предметами: они вечно оказывались там, где не следовало, топтали огороды, давили жуков, пачкали половики и могли одним шагом закрыть дорогу человеку, который хотел пройти незамеченным.

Я присела на корточки и стала разглядывать землю. Рядом с отпечатком валялся тонкий обрывок белой нитки. Такой же белый, как тот, что я нашла накануне возле могилки. Он был почти незаметен на серой земле, но я всё-таки увидела его, потому что теперь смотрела под ноги с таким усердием, словно от этого зависело, останется ли мир прежним.

Нитку я подняла и спрятала в карман сарафана.

Потом оглянулась на избу, на огород, на пустую дорогу за плетнём. Никого не было. Только ворона сидела на верхней жердине забора и смотрела на меня одним чёрным глазом. Я показала ей язык. Ворона не обиделась, а, напротив, каркнула так, словно знала про меня что-то постыдное.

- Не каркай, - сказала я. - Не тебя хоронить собираюсь.

Она взмахнула крыльями и перелетела на крышу сарая.

Я решила, что это знак, но какой именно - не поняла.

В избе пахло вчерашним хлебом, золой и кислой капустой. Мать уже поднялась, растопила печь и стояла у стола, раскатывая тесто на пироги. У неё были красные от горячей воды руки и такое сосредоточенное лицо, какое бывает у людей, которым некогда думать о мёртвых, потому что живые требуют завтракать, топить печь, кормить скотину и не путаться под ногами.

- Где была? - спросила она, не поднимая головы.

- У яблони.

- Опять?

- Я смотрела.

- На что?

Я помедлила. Сказать, что ночью кто-то приходил к моей мухе, было бы неправильно. Муха была не моя, а общая, потому что она умерла в нашей избе, но гроб сделала я. А если сказать, что кто-то приходил к могиле, мать спросит, кто именно, и мне пришлось бы признаться, что я не знаю. Взрослые не любят, когда дети не знают, зато очень любят, когда дети виноваты.

- Земля там разрыта, - сказала я наконец.

Мать перестала раскатывать тесто и посмотрела на меня.

- Какая ещё земля?

- У могилки.

- Чьей?

- Мухиной.

Мать закрыла глаза. Она делала так всякий раз, когда хотела, чтобы Бог дал ей терпение, а мне - разум, но Бог, насколько я могла судить, распределял эти вещи неравномерно.

- Глаша, - произнесла она медленно, - ты бы лучше воды принесла, да потом к Митьке сходила. И не выдумывай мне тут покойников. В доме их и без твоих мух хватает.

Я не знала, кого она имела в виду. Взрослые часто говорили о покойниках так, будто те стояли за печью и могли слышать своё имя. Иногда они крестились, иногда сплёвывали через левое плечо, а иногда просто замолкали и начинали заниматься делом с таким усердием, словно работа могла заслонить от них всё, чего они боялись.

Я взяла ведро и пошла к колодцу.

На улице уже просыпалось село. За огородами мычала корова, где-то плакал младенец, а из соседнего двора доносился сердитый голос старика, который ругал козу за то, что она забралась в капусту. Дым поднимался из труб невысокими сизыми столбами, и в сыром осеннем воздухе пахло прелой листвой, навозом и дымом. Солнце ещё не показалось, но восток за крышами посветлел, словно кто-то развёл за лесом огонь и прикрыл его ладонью.

У колодца стояли две женщины. Одна была наша соседка Дарья, другая - Пелагея, дворовая баба из господского двора, которую все звали Палашкой. Дарья держала коромысло, а Палашка, наклонившись над срубом, что-то рассказывала ей вполголоса.

- Я тебе говорю, не сама она, - услышала я, подходя. - Не бывает такого, чтобы человек накануне ещё воду носил, а к утру уже...

Дарья резко повернула голову и увидела меня.

- Ты чего уши развесила? - спросила она.

- Я воды пришла взять.

- Вот и бери.

Палашка выпрямилась. Она была худой, жилистой, с длинным носом и маленькими быстрыми глазами. На её запястье болталась красная нитка с узелками, а на шее под рубашкой висел потемневший крестик. Я знала, что она умеет лечить бородавки, заговаривать испуг и находить потерявшихся телят, хотя сама Палашка говорила, что ничего такого не умеет, а люди просто не желают отвечать за собственные глупости.

- Ты, Глаша, к матушке своей иди, - сказала она. - Не твоё дело, о чём взрослые толкуют.

- А я ничего не слышала.

- Вот и хорошо. Не слышала - и не надо.

Она произнесла это так, словно услышанное можно было вынуть из ушей и выбросить в колодец. Я посмотрела вниз, где в темноте блестела вода. Мне захотелось спросить, можно ли утопить слово, чтобы оно больше никогда не всплыло, но я уже знала, что взрослые на такие вопросы отвечают сердито.

Я опустила ведро. Верёвка закрипела о деревянный ворот, ведро ударилось о воду и пошло вниз, а я прислушалась к женщинам. Они больше не говорили об Акулине. Теперь Дарья спрашивала, сколько господский приказчик велел отвезти овса, а Палашка жаловалась на больную спину. Всё стало обыкновенным, но мне казалось, что разговор не закончился, а только спрятался, как мышь под половицу.

Когда я вернулась, мать уже посадила пироги в печь. Я поставила ведро возле двери, вытерла руки о передник и сказала:

- Маменька, а если человек повесился, у него на шее синяки бывают?

Мать медленно обернулась.

- Кто тебе такое сказал?

Я поняла, что сделала ошибку. Вчера старухи под столом говорили о синяках на шее попадьи Акулины, а теперь мать смотрела на меня так, будто я принесла в избу не воду, адохлую крысу.

- Никто. Я просто спросила.

- Дети не спрашивают про такие вещи просто так.

- А почему?

- Потому что есть вещи, которые детям знать не положено.

Она подошла ко мне, присела и взяла меня за плечи. От её рук пахло мукой и дымом.

- Послушай меня, Глаша. Если ты вчера что-нибудь слышала на празднике, забудь. Поняла? Не пересказывай, не спрашивай и не бегай по селу с чужими словами. У каждого человека своя беда, и не всякую беду можно выносить на свет.

- А если человек убил другого?

Мать побледнела так быстро, что я испугалась. Я никогда прежде не видела, чтобы лицо могло так перемениться: только что оно было усталым и сердитым, а через миг стало чужим, будто на него надели белую маску.

- Кто тебе сказал? - повторила она.

- Старухи.

Она отпустила мои плечи и встала. Несколько мгновений мать смотрела в сторону печи, где за заслонкой потрескивали дрова.

- Старухи много чего говорят, - произнесла она наконец. - Одни от страха, другие от злости, третьи потому, что им скучно жить. И не всякое слово - правда.

- Но они сказали, что отец Евлампий...

- Замолчи!

Мать никогда не кричала на меня так. Я вздрогнула, а она тут же прижала ладонь ко рту, словно испугалась собственного голоса. Потом перекрестилась, посмотрела на образа в красном углу и прошептала что-то, чего я не расслышала.

- Не произноси имя священника в таком разговоре, - сказала она уже тише. - И не повторяй того, чего не понимаешь.

- А если я понимаю?

- Ты ещё слишком мала, чтобы понимать такие вещи.

Это было несправедливо. Когда требовалось полоть грядки, нянчить младших или нести воду, я была достаточно большая. А когда хотелось узнать, почему взрослые боятся собственного языка, я сразу становилась маленькой.

Я ушла к двери и села на лавку. В кармане сарафана лежала белая нитка, и я чувствовала её сквозь ткань, словно она была не ниткой, а тонким холодным червячком. Мне захотелось показать её матери, но после её крика я решила не делать этого. Вдруг она узнает нитку и опять побледнеет? Вдруг она скажет, что я всё придумала? А если не скажет, значит, нитка действительно что-то знает.

В тот день я впервые поняла, что молчание бывает разным. Одно молчание - когда тебе нечего сказать. Другое - когда ты знаешь, но боишься. А третье - когда ты ещё не знаешь, однако все вокруг уже решили, что тебе нельзя.

И последнее было самым обидным.

Митьку я нашла за господским амбаром. Он сидел на перевёрнутой кадке, жевал краюху хлеба и строгал ножом тонкую палочку. У него был один передний зуб, который торчал вперёд, словно хотел первым узнать, что случится дальше, а волосы всегда стояли дыбом, сколько бы мать ни приглаживала их мокрой ладонью. Его отец служил при конюшне, и Митька с малых лет умел различать лошадей по походке, узнавал следы на дороге и мог по одному клочку шерсти сказать, какая скотина пролезла через изгородь. Всем этим он ужасно гордился, хотя сам был тощим, как жердь, и вечно ходил с разбитыми коленями.

- Митька, - позвала я.

Он поднял глаза, откусил хлеб и показал мне палочку.

- Будет свисток. Только не настоящий, а почти настоящий.

- Мне не нужен свисток.

- Тогда зачем пришла?

- У могилки кто-то был.

Митька перестал жевать.

- У какой могилки?

- У нашей.

- У мухиной, что ли?

Я кивнула.

Он посмотрел на меня, потом на амбар, словно надеялся, что там найдётся кто-нибудь взрослый, кто объяснит ему, как разговаривать с такими детьми.

- Ты сама её похоронила, сама гроб сделала, сама землю закопала. Теперь ещё и гости к ней ходят. Хорошая у тебя покойница, ничего не скажешь.

- Там след.

- Чей?

- Мужской. Сапог большой, а на пятке выемка. И нитка белая.

Я вытащила обрывок из кармана и протянула ему. Митька взял его двумя пальцами, поднёс к глазам и повертел на свету.

- Это не нитка, - сказал он.

- А что?

- Нитка, конечно. Только не простая. Видишь, она скручена туго? Такая на рубахах не годится, слишком тонкая. Ею шьют что-нибудь крепкое или завязывают.

- Что?

- Откуда я знаю? Я тебе что, баба-швея?

Он вернул мне нитку и спрыгнул с кадки. Хлеб он сунул за пазуху, нож убрал за пояс, а палочку оставил лежать на земле. Когда Митька собирался делать что-то интересное, он всегда забывал о своих поделках.

- Показывай след.

Мы пошли к яблоне огородами, чтобы не выходить на дорогу. Митька объяснил, что взрослые не любят, когда дети слоняются без дела, особенно если взрослым самим есть что

скрывать. Он произнёс это с таким видом, словно был уже старым разбойником и знал все тайны уездного города, хотя дальше господской усадьбы без разрешения не отлучался.

У могилки он присел на корточки и долго разглядывал отпечаток. За ночь края следа немного осыпались, а вода, собравшаяся в углублении, потемнела от земли.

- Сапог, - сказал Митька. - Мужской.

- Я знаю.

- Большой.

- Я тоже знаю.

- И не новый. У нового каблук ровный, а этот оббит. Вон тут кусок выломан.

- Я тебе про это и говорила.

- Ну так дай посмотреть спокойно.

Он сердито отмахнулся от меня, что было привычным способом показать свою важность. Потом поднялся, отошёл на шаг и оглядел землю вокруг яблони.

- Шёл от забора, - сказал он. - Видишь? Здесь земля примята, а тут след глубже. Значит, остановился возле ямы. Потом пошёл обратно.

- Зачем?

- Может, хотел украсть твою муху.

- Не смешно.

- А я и не смеюсь.

Он действительно не смеялся. Это меня встревожило сильнее, чем если бы он принялся дразниться. Митька мог издеваться над моими страхами, но никогда не относился к следам так серьёзно, если не считал, что за ними стоит что-то опасное.

- Он мог прийти не к мухе, - тихо сказал он.

- А к кому?

Митька не ответил. Он посмотрел на яблоню, потом на огород, потом туда, где за плетнём начиналась тропинка к господскому саду.

- Глаша, а ты вчера после праздника домой сразу пошла?

- Да.

- Одна?

- Сначала с бабой Дарьей, потом одна. А что?

- Ничего.

Он снова наклонился к следу и пальцем провёл по земле возле каблука. На подушечке его пальца осталась чёрная влажная грязь.

- Здесь песок, - сказал он. - А у господского амбара земля сухая и жёлтая. Значит, он не оттуда пришёл. У нас возле колодца тоже другая земля. А за церковью, где могилы, - глина. Если бы он шёл с кладбища, на сапоге была бы глина.

- Откуда ты знаешь?

- Я знаю, где лошади ходят. Лошади тоже следы оставляют, между прочим.

Он произнёс это так, словно я должна была извиниться за собственное невежество.

Мы обошли яблоню с другой стороны. Там, под низкой веткой, земля была примята, а на коре виднелась свежая царапина. Яблоня росла старая, с корявым стволом, и её нижние ветви почти касались земли. В детстве я пряталась под ними от дождя, а однажды нашла в дупле мёртвого воробья и долго не могла решить, нужно ли хоронить его отдельно или он уже лежит в готовом доме.

Теперь я увидела возле царапины маленькую тёмную щепку.

Митька поднял её.

- Дерево? — спросила я.

- Нет. Кость.

Я отступила так резко, что наступила ему на ногу.

- Человеческая?

- Откуда мне знать? Может, куриная.

Он поднёс щепку к глазам. Она была тонкая, желтоватая, с гладкой поверхностью и тёмным пятнышком на одном конце. Митька повертел её, потёр пальцем и сунул в карман.

- Не бери! - сказала я.

- Почему?

- Вдруг она от покойника.

- Тогда покойник уже без неё, - ответил он. - Не думаю, что ему теперь сильно мешает.

Я не знала, как можно быть таким бесстрашным и таким глупым одновременно. Впрочем, Митька считал, что это и есть настоящая храбрость.

- Надо спросить у Палашки, - сказала я.

- Зачем?

- Она знает, что случилось с попадьею.

- Откуда?

- Я слышала, как она говорила с Дарьей возле колодца.

Митька насупился. Он знал Палашку и побаивался её не меньше, чем господского приказчика. Палашка могла так посмотреть на мальчишку, что у него пропадало желание даже думать о шалостях. Но ещё больше Митька не любил, когда кто-нибудь запрещал ему узнавать то, что он уже решил узнать.

- Ладно, - сказал он. - Только спрашивать буду я.

- Почему ты?

- Потому что ты маленькая.

- Ты сам всего на три года старше!

- Зато я мальчик.

- И что?

- А то, что мальчиков за вопросы меньше ругают.

Я хотела возразить, но вспомнила, как мать кричала на меня утром, и решила, что в этом он, пожалуй, прав.

Мы отправились искать Палашку.

Её мы обнаружили у прачечной, которая стояла за господским двором, возле ручья. Это было длинное низкое строение с почерневшими стенами и маленькими окнами, откуда почти круглый год шёл пар. Там стирали господское бельё, кипятили полотна в больших чанах, отбивали их деревянными вальками и развешивали на верёвках, чтобы ветер выдувал из ткани запах щёлока. Зимой работа была особенно тяжёлой: вода обжигала руки, пар оседал на лице, а мокрые простыни застывали на морозе так, что ломались, если их резко встряхнуть.

Палашка стояла у длинного стола и перебирала белые полотнища. Рядом на лавке лежала корзина с бельём, а возле двери сидела девочка лет двенадцати, худенькая, с тёмными косами. Я видела её прежде несколько раз, но имени не знала. Она была из тех детей, которые рано учатся ходить тихо, не смотреть взрослым в глаза и исчезать, когда их зовут по имени.

- Тебе чего? - спросила Палашка, увидев нас.

Митька шагнул вперёд, как и обещал.

- Мы хотели узнать, правда ли, что попадья сама повесилась.

Палашка выпрямилась. Девочка у двери перестала складывать бельё.

- Кто вас сюда послал?

- Никто, - ответил Митька.

- Тогда ступайте отсюда.

- А если её убили?

- Митька! - прошептала я.

Но он уже вошёл в раж. Когда Митька чувствовал, что взрослые что-то скрывают, он становился похож на молодого петуха, который впервые увидел другого петуха во дворе и решил, что отступать нельзя даже перед топором.

- Люди говорят, у неё на шее были синяки, - продолжал он. - И деньги из церкви пропали. А ночью кто-то ходит возле нашей яблони.

Палашка уронила бельё.

Полотнище упало на землю, подхватив пыль и солому. Она не стала его поднимать. Сначала посмотрела на Митьку, потом на меня, и в её лице появилось что-то такое, отчего я поняла: мы спросили не о том, о чём следовало.

- Какие ещё деньги? - спросила она.

- Три рубля, - сказала я, прежде чем Митька успел ответить. - В ассигнациях.

Палашка побледнела. Это было уже второе взрослое лицо за один день, которое менялось у меня на глазах, и мне стало казаться, что слова обладают особой силой: стоит произнести правильное - и человек перестаёт быть собой.

- Кто вам это сказал? - спросила она.

- Старухи на празднике.

- Какие старухи?

- Матрона-солдатка, Анисья и беззубая.

Палашка медленно перекрестилась.

- Господи, сохрани и помилуй.

Она подняла бельё, отряхнула его и положила обратно на стол. Потом подошла к двери и выглянула наружу. Во дворе никого не было, только за оградой прошла женщина с корзиной на голове.

- Слушайте меня оба, - сказала Палашка, понизив голос. - Если вам дорога ваша шкура, забудьте, что слышали. Особенно ты, Митька. Твой отец служит у господских лошадей, а приказчик не любит, когда дворовые дети суют нос в чужие дела. А ты, Глаша, ещё меньше понимаешь, чем он.

- Но я видела след, - сказала я.

Палашка резко повернулась.

- Какой след?

- У могилки. Большой сапог. На пятке кусок выломан.

Она посмотрела на Митьку. Тот молча вынул из кармана щепку, которую мы нашли под яблоней, но показывать не стал.

— Кто-то ночью ходил к могиле, — продолжала я. — И там была белая нитка. Вот такая. Я достала обрывок и положила на край стола.

Палашка не прикоснулась к нему. Она смотрела на нитку так, словно перед ней лежала змея, которая ещё не решила, кусаться ей или нет.

- Уберите, - сказала она.

- Почему?

- Потому что не всё, что находят на земле, следует поднимать.

- Но вы знаете, откуда она?

Палашка закрыла глаза. Когда она открыла их снова, лицо её стало жёстким.

- Я знаю только одно: покойникам надо давать покой. А живым - иногда молчать.

- Значит, вы знаете, кто приходил?

- Я сказала: ступайте.

На этот раз в её голосе было столько страха, что даже Митька не стал спорить. Мы вышли из прачечной и остановились у стены. Девочка с тёмными косами смотрела на нас из окна. Она не улыбалась и не делала знаков, но, когда я обернулась, её пальцы быстро коснулись шеи, точно она хотела поправить ворот рубахи.

На мгновение мне показалось, что у неё на запястье я увидела белую нитку, туго обмотанную вокруг руки.

Потом она исчезла из окна.

- Видел? - спросила я Митьку.

- Что?

- У девочки на руке.

- У какой девочки?

- Которая бельё складывала.

Митька посмотрел на окно, но оно уже было пустым.

- Тебе всё мерещится, - сказал он.

- А тебе всё не мерещится, потому что ты не смотришь!

Он хотел ответить, но из-за угла вышел господский конюх, отец Митьки. Увидев нас возле прачечной, он нахмурился и окликнул сына. Митька сразу стал обычным мальчишкой: сутулым, грязным, с разбитыми коленями и виноватым лицом.

- Ты чего тут ошиваешься? - спросил конюх.

- Ничего, батюшка.

- Ничего у тебя всегда получается хуже всего. Иди помогай с лошадьми.

Митька посмотрел на меня, и я поняла, что сейчас он не сможет остаться. Он пошёл за отцом, но у самого поворота обернулся и показал мне два пальца, потом ткнул ими в сторону церкви.

Это значило: встретимся позже.

Я осталась одна возле прачечной. Изнутри доносились удары вальков, плеск воды и тихий голос Палашки, которая велела девочке принести ещё щёлоку. Всё вокруг снова стало обыкновенным, но я больше не верила обыкновенным вещам.

В тот день я впервые увидела, как тайна может жить среди людей, не прячась в лесу, не выходя из могилы и не являясь по ночам в белом саване. Она могла стоять за столом, складывать бельё, носить воду из колодца и говорить с тобой ласковым голосом. Её можно было принять за соседку, за работницу, за старуху, которая ругает козу, или за девочку с тёмными косами. И только иногда тайна роняла что-нибудь на землю - белую нитку, например, - а потом пугалась, когда ребёнок поднимал находку.

К вечеру небо затянуло низкими тучами. Ветер пригнал с полей сырой холод, и листья на яблоне начали шуршать, хотя сильного ветра не было. Я сидела у окна, штопала старую кукольную рубаху и ждала, когда мать позовёт ужинать. Она была молчалива с самого утра. Несколько раз я замечала, как она поглядывает на меня, словно собирается что-то спросить, но каждый раз отворачивалась.

После ужина отец долго чинил у порога ременную упряжь. Он почти не разговаривал, только время от времени подносил ремень к свету и проверял, крепко ли держится шов. Отец был человеком немногословным и не любил, когда его отвлекали во время работы. Но однажды, когда мать ушла за водой, он подозвал меня.

- Глаша, — сказал он, не поднимая головы, - ты вчера у попа была?

- На празднике.

- И что видела?

Я замерла. Отец редко задавал мне вопросы, на которые сам не знал ответа.

- Ничего, - сказала я.

Он поднял глаза.

- Ничего - это когда ничего не видела. А когда видела и боишься сказать, это уже другое.

Я посмотрела на его руки. На большом пальце была старая белая полоска от пореза, а ноготь на указательном пальце почернел от смолы.

- Старухи говорили про попадю Акулину, - прошептала я.

Отец снова опустил голову к ремню.

- Старухи говорят много.

- Они сказали, что отец Евлампий её убил.

Ремень выскользнул у него из рук и упал на пол.

В избе стало так тихо, что я слышала, как за стеной мышь скребёт лапками по сухой соломе. Отец не ругнулся, не поднял ремень, не велел мне замолчать. Он просто сидел, опустив руки на колени, и смотрел на дверь.

- Кто ещё слышал этот разговор? - спросил он наконец.

- Я. И Митька.

- Ещё кто-нибудь?

- Старухи. Палашка тоже что-то знает.

Отец медленно поднялся и подошёл к окну. На стекле отражалось его лицо - тёмное, усталое, с глубокими складками возле рта. За окном уже почти стемнело.

- Послушай меня, дочь, - сказал он. - Есть люди, которых лучше обходить стороной. Не потому, что они сильнее тебя, а потому, что у них за спиной стоят другие люди, которым нет дела до правды. Ты маленькая. Тебе кажется, что, если кто-то сделал зло, достаточно рассказать об этом и всё исправится. Но мир устроен не так просто.

- А как?

Отец долго молчал.

- Иногда правда спасает. Иногда губит того, кто её сказал. И не всегда можно заранее понять, что из этого случится.

- А если молчать, зло останется?

Он повернулся ко мне. В его глазах было что-то тяжёлое, чего я не могла назвать, но от чего мне захотелось подойти к нему поближе.

- Да, - сказал он. - Иногда остаётся.

Мне не понравился этот ответ. Я хотела, чтобы отец сказал, что всё плохое обязательно будет наказано, что у всякой неправды есть конец, а у всякого преступления - расплата. Так говорили в сказках, которые мать рассказывала перед сном. Но отец не был сказочным человеком. Он знал, что в жизни злой волк может съесть козлят, а потом спокойно лечь под забором, и никто не станет спрашивать у него, зачем он это сделал.

- А попадья? - спросила я. - Её кто-нибудь защитит?

Отец закрыл глаза и провёл ладонью по лицу.

- Не знаю, Глаша.

Впервые в жизни я слышала, как отец произносит эти слова без раздражения, без шутки, без попытки скрыть своё незнание. Он действительно не знал. И от этого мне стало страшнее, чем от ночного голоса, который звал Евлампия.

Когда мать вернулась, отец больше не говорил со мной о попадье. Он велел мне умыться, помолиться перед образами и лечь спать. Я послушалась, но, забравшись на свою лавку, не сразу закрыла глаза. В избе потрескивал огонь, мать шептала молитву, а за окном шумела яблоня.

Я думала о белой нитке, о сапоге с выломанным каблуком, о девочке у прачечной и о том, почему Палашка испугалась, когда я сказала про три рубля. Все эти вещи были связаны между собой, я чувствовала это так же ясно, как чувствовала запах дыма на своей рубахе, хотя пока не могла понять, каким образом.

А потом с улицы донёсся звук.

Тихий, короткий, будто кто-то ударил ногтем по дереву.

Я села на лавке.

Звук повторился.

Не со стороны двери и не от окна. Он шёл от яблони.

Тук.

Тук-тук.

Я натянула одеяло до самого подбородка. Сердце у меня билось так сильно, что я боялась: мать услышит его и спросит, что случилось. Но она продолжала молиться, и отец тоже не шевелился.

Тогда я вспомнила, что у могилки лежит реповый гроб. Внутри него - мёртвая муха. А рядом, в земле, остался след большого сапога.

Я сказала себе, что это ветер стучит веткой по стволу. Яблоня старая, ветки у неё кривые, и ветер может делать с ними что угодно. Я повторила это дважды, потом ещё раз, но звук больше не повторился.

Уже почти засыпая, я услышала совсем тихий шорох возле окна, а вслед за ним - женский голос, едва различимый, будто говоривший из-под земли:

- Евлампий...

На этот раз я не стала звать мать.

Я лежала неподвижно и смотрела в темноту, пока она не сделалась густой, как вода в колодце. Мне было страшно, но ещё страшнее было подумать, что, если я расскажу об услышанном, взрослые снова велят мне молчать.

А если не расскажу, может быть, голос придёт ещё раз.

И тогда я впервые решила, что должна сама узнать, кто ходит ночью возле нашей яблони и почему мёртвые зовут по имени живых.

Утром я собиралась начать с самого простого: выяснить, у кого в нашем селе сапог с выломанным каблуком.

Я ещё не знала, что искать его следы придётся совсем не там, где я ожидала.

Глава четвёртая. Сапог, который не хотел оставлять следов

Наутро я проснулась раньше всех, хотя спала плохо и несколько раз за ночь просыпалась оттого, что мне казалось, будто кто-то стоит возле окна. Каждый раз я лежала тихо-тихо, боясь пошевелиться, и смотрела на тёмный прямоугольник рамы, за которым не было видно ничего, кроме ночи. Под утро мне даже приснилось, что наша яблоня выросла до самого неба, а на её ветвях вместо яблок висели маленькие гробы из репы. Они покачивались на ветру, стучали друг о друга и издавали такой тонкий скрип, будто внутри каждого кто-то пытался выбраться наружу.

Когда я окончательно проснулась, в избе было серо и холодно. Огонь в печи почти погас, и только под золой ещё теплились красные угольки. Мать спала, отвернувшись к стене, отец тоже не шевелился. Я осторожно спустила ноги на пол, нашла лапти и на цыпочках направилась к двери.

На пороге я остановилась. Вчерашний голос мог оказаться сном, ветер мог стучать веткой по яблоне, а ночной шорох - мышью, которая забралась под окно. Я уже почти убедила себя, что всё так и было, когда вспомнила о следе. След был настоящий, я видела его собственными глазами, а земля не умеет притворяться только потому, что ребёнок чего-то испугался.

Я вышла во двор.

Ночь оставила на земле тонкий слой инея. Он серебрился на траве, на крыше сарая и на деревянной ограде, а в лужах возле крыльца схватился прозрачной корочкой. Над огородом поднимался пар, и яблоня казалась ещё старше, чем вчера: её чёрные ветви раскинулись над землёй, словно руки человека, который давно устал просить о помощи и теперь просто ждёт.

Я подошла к могилке.

Реповый гроб лежал на месте, земля над ним была чуть примята, но больше никто не наследил. Вчерашний след сохранился лишь краешком: мороз прихватил влажную почву, и

выломанная пятка теперь выглядела не так отчётливо. Я присела, провела пальцем по углублению и почувствовала под ногтем твёрдую крошку. Это мог быть песок, мелкий камешек или кусочек засохшей глины. Я положила находку на ладонь, но разглядеть ничего не сумела.

- Ты что, опять к ней? - раздалось за спиной.

Я вздрогнула так, что крошка упала в траву.

У забора стояла бабушка Агафья, мать моего отца. Она пришла к нам ещё до рассвета, как делала иногда, когда собиралась печь хлеб или хотела помочь матери с бельём. Бабушка была маленькая, сухая, с узловатыми пальцами и глазами, которые видели гораздо больше, чем ей хотелось рассказывать. Волосы её давно побелели, но она заплетала их в тугую косу и укладывала вокруг головы, а поверх надевала тёмный платок. Она говорила мало, зато помнила всё: кто кому дал займы полушку, кто когда женился, у кого в каком году пал скот и кто на чьей свадьбе слишком много выпил.

- Я смотрю, - ответила я.

- На что?

- На могилку.

Бабушка подошла ближе и посмотрела на реповую крышечку, которая едва виднелась под землёй.

- Муху, значит, похоронила.

- Она умерла.

- Все умирают, Глашенька.

- А потом все лежат спокойно?

Бабушка не ответила сразу. Она посмотрела на меня, потом на яблоню, и я заметила, как её губы на мгновение сжались.

- Не все, - сказала она наконец. - Только не потому, что им хочется встать. Бывает, живые не дают мёртвым покоя.

Я вспомнила ночной голос.

- А если мёртвый зовёт живого по имени?

Бабушка резко повернула голову.

- Кто тебе такое сказал?

- Никто. Я спрашиваю.

- Ты в последнее время много спрашиваешь.

- Потому что взрослые ничего не рассказывают.

Она вздохнула и присела рядом со мной. От её одежды пахло холодом, печным дымом и сушёной мятой. Бабушка всегда носила в кармане маленький мешочек с травами, уверяя, что от них лучше спится и меньше болит голова. Я подозревала, что мешочек нужен ей ещё и для того, чтобы иметь при себе хоть что-то, чего никто не станет просить у неё займы.

- Послушай, - сказала она, - у покойников свои дела, у живых свои. Не всякий голос в ночи принадлежит тому, о ком ты подумала. Иногда совесть у человека так кричит, что ему кажется, будто кричат снаружи.

- А если кричит не совесть?

Бабушка посмотрела на меня долгим взглядом.

- Тогда тем более не следует отвечать.

Мне не понравилось, как она это сказала. Выходило, что на любой мой вопрос у взрослых находился ответ, после которого становилось ещё страшнее.

- Бабушка, а ты знала попадьё Акулину?

Она сняла с головы платок, поправила косу и снова завязала узел под подбородком, хотя он и так держался крепко. Я уже знала этот её жест: бабушка делала так, когда не хотела отвечать сразу.

- Знала.

- Она была хорошая?

- Была разная.

- Как это?

- А так, как все люди. И хорошая, и сердитая, и гордая. Могла помочь, могла обидеть. Не была ни ангелом, ни ведьмой, если ты об этом.

Я не думала, что попадья была ведьмой. Мне казалось, что ведьмы должны жить в лесу, варить зелья и летать на метле, а Акулина жила в церковном доме, носила платки и, вероятно, тоже пекла пироги. Но теперь я поняла, что бабушка знает о ней больше, чем говорит.

- Она сама умерла? - спросила я.

Бабушка поднялась.

- Об этом спроси у тех, кто её хоронил.

- А если они не скажут?

- Значит, не хотят.

- Но почему?

Она поправила рукав и посмотрела в сторону господского двора, где над крышами уже поднимался дым.

- Потому что иногда человек боится не того, что правда откроется, а того, что вместе с правдой откроется и его собственная вина.

Сказав это, бабушка взяла меня за руку и повела в избу. Я шла рядом, стараясь запомнить каждое слово. Бабушка не любила объяснять дважды, а её слова, как мне казалось, были похожи на старые ключи: с виду простые, тёмные, но, если подобрать к ним нужную дверь, можно попасть туда, куда другие не входят.

За завтраком она почти не разговаривала. Мать поставила на стол кашу, отец ел молча, а бабушка несколько раз поглядывала на меня так, будто хотела спросить что-то при всех, но не решалась. Когда отец вышел во двор, а мать отправилась к соседке за солью, бабушка подозвала меня к печи.

- Ты вчера была на празднике? - спросила она.

- Была.

- И старух слушала?

Я кивнула.

- А что ещё слышала?

Я рассказала ей про деньги, про синяки на шее Акулины, про то, что женщины говорили об отце Евлампии. Про ночной голос я умолчала. Не потому, что боялась бабушки, а потому, что сама ещё не знала, как его назвать. Одно дело - пересказать чужие слова, другое - признаться, что ночью ты слышала то, чего не мог слышать никто, кроме тебя.

Бабушка слушала, не перебивая. Когда я закончила, она долго смотрела на огонь.

- Кто из женщин говорил больше всех? - спросила она.

- Матрона-солдатка. Анисья тоже. Беззубая всё время оглядывалась.

- А про Палашку они говорили?

- Да. Сказали, что она знала про деньги.

Бабушка медленно провела ладонью по колену.

- Палашка много чего знает. Она в прачечной работает, а прачечная - место такое, где люди сами приносят свои тайны вместе с грязным бельём. На рубахе можно спрятать кровь, на полотне - чужую слезу, а в складке простыни иногда остаётся то, чего хозяин никогда не хотел бы показывать.

Я представила господское бельё, которое кипятят в чанах, и подумала, что вместе с грязью там, наверное, исчезают и следы. Но потом вспомнила белую нитку и решила, что не всё можно отстирать.

- А кто мог прийти ночью к нашей яблоне? - спросила я.

Бабушка посмотрела на меня так, словно я произнесла именно то, чего она ждала.

- Почему ты решила, что он пришёл к яблоне?

- Там след. Большой сапог. На пятке выломан кусок.

- Ты уверена?

- Митька тоже видел.

Она медленно перекрестилась.

- Не говори об этом никому, Глаша.

- Но почему?

- Потому что не всякий след нужно показывать людям. Иногда, если его увидят, они начнут заметать другие.

Бабушка ушла до полудня, а я осталась с таким количеством вопросов, что они словно толкались у меня в голове, как цыплята в тесной корзине. Взрослые постоянно говорили, что дети не должны лезть в чужие дела, но сами почему-то оставляли повсюду такие следы, что не заметить их было невозможно.

Я дождалась, пока мать займётся стиркой, и отправилась к церковному двору.

Церковь стояла на небольшом пригорке, в центре села. Деревянная ограда вокруг кладбища местами покосилась, а у ворот лежала куча старых досок, которые всё собирались починить, но никак не находили для этого времени. Сам храм был небольшой, с потемневшими от дождей стенами и зелёной крышей. Над входом висел колокол, и я любила смотреть, как звонарь раскачивает его перед службой: тогда звук уходил над крышами, над огородами, над полями, и даже собаки на дальнем конце села на мгновение переставали лаять.

Возле церковного дома стояла телега. Две лошади, запряжённые в оглобли, переступали копытами, а рядом с ними возился незнакомый мужчина в тёмном кафтане. Он был широкоплечий, с короткой бородой и кожаным поясом, к которому крепился нож в потёртых ножнах. Мужчина проверял ремни на упряжи и время от времени поглядывал на окна.

Я хотела пройти мимо, но он окликнул меня:

— Эй, девочка! Ты местная?

Я остановилась.

- Местная.

- А попадьё Акулину знала?

Я почувствовала, как внутри у меня всё сжалось.

- Нет.

- А мать её знаешь? Где живёт?

- Не знаю.

Он выпрямился и внимательно посмотрел на меня. Глаза у него были светлые, почти бесцветные, а на левой щеке виднелся старый шрам, похожий на тонкую белую верёвку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.